



И. Ф. РОМАНОВ-РЦЫ

Заметки на полях

В. В. Розанов, «Около церковных стен»,
т. 1, с. XV + 416, СПб., 1906

Передо мною книга, которая, я уверен, найдет своего читателя, несмотря на то, что переживаемое время не очень благоприятствует философии, искусству, литературе наконец, понимая это слово в его постоянном значении...

Книга, которая носит заглавие «Около церковных стен» и подписана «В. Розанов», прочтется не потому, что ее *необходимо* прочитать, что содержание ее *должно* остановить на себе внимание читателя, что имя автора, его известность, его талант *не позволяют* равнодушию коснуться его последнего по времени произведения — нет! На все это надеяться по рассеянности переживаемой эпохи, по недостатку внимания к высшим запросам духа мы не считаем себя вправе...

Но мы верим, мы знаем, что у нашего автора есть *свой* непременный и неизменяющийся читатель, который, несмотря на полное отсутствие соприкосновения в личной жизни, несмотря иной раз на громадное географическое отдаление, так *близок* к автору, как если бы он принадлежал к кругу его личных знакомых, его родных, его ближайших ближних. Этот не изменит автору. Этот, во всяком случае, прочтет новую книгу Розанова. Любопытная черточка, на которой стоит несколько остановиться.

С год, как я переехал в Петербург, а ранее того — целых восемь лет прожил в преддверии Петербурга в Гатчине. Славный городок, хотя и числится как *безуездный*, т. е. это значит такая малость, что почти и говорить о нем не стоит. А в нем есть все, чему полагается быть в маленьком, но благоустроенном городке: и собор, и церковная при нем школа, и женская гимназия, и реальное училище, и городовые, которые «по форме отдают честь», и пожарная команда, и электрическое освещение, и даже — да

простится мне вечное, неисправимое обжорство! — бакалейные лавки с превосходным швейцарским сыром, много лучше того, что я ел в подлинной Швейцарии, в Берне, Цюрихе, Женеве и проч. И сколько славных людей я там узнал! Милые, добрые, ласковые... К сожалению, «одних уж нет»... Вечная им память! И в числе последних — другу нашей семьи Э. Г. Павликовскому. Я помянул уже в печати светлую личность этого прекрасного врача, но так отрадно и еще что-нибудь рассказать о безвременно угасшем Эмилии Гекторовиче... Ну вот, по поводу Розанова. Почему покойный так ценил его, так, можно сказать, заочно привязался к *своему* автору? Где почва? Поляк, католик... о, далеко не «заядлый», но и нимало не затушевывавший в добром, ласковом соприкосновении с иноверцем своего католицизма; человек страшно занятой, едва-едва успевавший «на сон грядущий» пробежать № «Нов<ого> времени» — он всегда со вниманием прочитывал Розанова, запоминал прочитанное, любил при случае вернуться в беседе к тому или иному из его фельетонов...

А как он обрадовался, когда по моей просьбе Василий Васильевич прислал ему все вышедшие свои в отдельном издании сочинения! Удивительное дело!.. Впрочем, не стоило бы останавливаться на этом крохотном фактике, если бы он не служил для меня исходной точкой для некоторых обобщений...

«*И будешь ловцом человеков*»... Великое обетование, данное великому апостолу!.. Смеем ли выразить догадку, что великий этот дар апостольства какими-то брызгами во славу Всещедрого ниспадает иногда и на писательскую среду? О, не на всех! Даже не непременно на самых значительных между ними, но «одному дано, другому — нет». Если угодно, даже интереснее исследовать факт в отношении тех, которые по своей скромности и не захотели бы, я думаю, причислить себя к сонму «великих»... Одному дано, — другому нет. Кому дано? Кому нет? Вдумайтесь. Есть превосходные писатели, которых мы очень уважаем, чрезвычайно ценим, но между ними и нами до такой степени отсутствует связующая черта *интимности*, что просто диким, почти оскорбительным показалось бы, если бы кто из читателей поинтересовался узнать, каков такой-то писатель *в жизни*? Женат он или холост? Стар или молод? Где проводит лето: на даче или уезжает за границу? Я привык видеть перед собою благообразного господина, во фраке, в белом галстуке. Он на моих глазах всходит на кафедру, прочитывает мне свою красивую, поучительную, талантливую лекцию. Я благодарю его хлопком и затем мы расстаемся, совершенно забывая друг о друге. Не только никакого интереса *вне кафедры* мой профессор во мне не возбуждает, но просто мне скучно, но я поло-

жительно *не хочу* ничего о нем знать. Обедает ли он в ресторане и в каком именно, собственные или фальшивые у него зубы — какое мне дело! Есть, наоборот, этакие, выражусь, «халатники», этакие подчас даже совсем незначительные писатели, которые ужасно вас заинтересовывают именно в точках интимности, быта житейского, личного... Ну, Бальзак, например, или еще поразительнее: Дюма-отец и Дюма-сын. Первого как-то все любили, мужчины и женщины, а второго никто. Бальзак и женился по переписке с читательницей, иностранкой вдобавок, полькою... Удивительно! «И будешь ловцом человеков»... А другому этого не дано. И дело тут не в степени известности, не в размере таланта, а в его каком-то особом *свойстве*. В каком?

Мне кажется, что апостол Павел, говоря об *эллинах и иудеях*, вольно или невольно указал на *два коренные свойства человеческого духа*. «Эллины ищут мудрости» — это одна половина человеческого мозга. «Иудеи просят знамения» — то другая половина того же мозга. Есть *дневная душа*. И есть *ночная душа*. Помните у Тютчева, величайшего тайновидца ночи?

О, страшных песен сих не пой
 Про древний хаос, про родимый!
 Как жадно мир *души ночной*
 Внимает повести любимой!
 Из смертной рвется он груди
 И с беспредельным жаждет слиться...
 О, бурь уснувших не буди:
 Под ними хаос шевелится!¹

Это удивительный шедевр поэта, в котором наглядно выражено преобладание *ночной души* над *дневной*...

Песок сыпучий по колени...
 Мы едем... поздно... меркнет день,
 И сосен по дороге тени
 Уже в одну слились тень...
 Черней и чаще бор глубокий...
 Какие грустные места!..
 Ночь хмурая, как *зверь стоокий*,
 Смотрит из каждого куста².

Есть зрячесть «многоочитого серафима», и есть зрячесть «стоокого зверя»... Есть солнце разума, и есть какое-то *внутреннее озарение* таинственными икс-лучами... Нужно ли точнее называть: где *эллин*? Где *иудей*? Весь наш Пушкин, это, конечно, эллин, с его дивным озарением солнца-разума. Весь почти Лермонтов — мир *ночной души*, и отсюда основание и право зачислить его в число *иудеев*.

Те же черты не откроем ли мы и среди литературных звезд второй, третьей, четвертой величины? Может быть, даже среди простых смертных, не имеющих никакого литературного поманья? Мне кажется, что это так, и по этой именно причине я не затрудняюсь понять, почему В. В. Розанову до некоторой степени дано быть «ловцом человеков»... В мире *ночной души* есть что-то интимное, к интимности располагающее, на интимность вызывающее, и тот, в ком, как у нашего друга Павликовского, было некоторое умонаклонение к вечной черте *иудаизма* — тот, думаю, случайно встретив Розанова, делается его усердным и постоянным читателем. Но возможны и обратные случаи. Ну, возьмем, например, В. П. Буренина. Мне кажется, что для этого типичного *эллина*, с его ясным суждением и неистощимым юмором, Розанов есть прямо-таки *невыносимость*, наказание за какие-то грехи. Конечно, как добрый товарищ, он не захочет сделать подобного признания о своем собрате по газете, но в глубине души, я думаю, он недалек от очень сурового и... несправедливого приговора. Все дело именно: как, кому, под каким углом зрения, на какой темперамент. Вы *эллин*? Бросьте Розанова. *Иудей*? Читайте. Не оторветесь.

Итак, перед нами писатель с ярко выраженным миром *ночной души*. Его гений — «зверь стокий». Его сила — *внутреннее* озарение какими-то таинственными икс-лучами. Силой мистической интуиции он узнает то, чего никто не знает. Но он зачастую не знает того, что известно школьнику, пригостишке. Вообще он как-то слеп при *свете дня*. В этом его слабость. Отсюда, на взгляд *эллина*, его «невыносимость»...

Книга «Около церковных стен» не столь ярко, как мне кажется, выражает коренную особенность таланта В. В. Розанова. По видимому, это чувствовал и сам уважаемый автор. Так, в предисловии он говорит: «Все статьи эти были уже ранее напечатаны в разных повременных изданиях... В статьях есть колебания тона, — в зависимости от частного возбуждения, которое дала им жизнь... Настоящая книга обращается исключительно в *белых* лучах и имеет *белые* тона...» Мы знаем уже, что «*белое*» не в средствах нашего автора. Насколько мы уясняем себе, В. В. Розанов чужд музыкальности; поэтическое его мало трогает; чувство прекрасного вряд ли когда в нем разгоралось до степени истинно-художественного восторга... И мы уже заметили о некоторой слепоте автора «Около церковных стен» к свету *эллинского дня*... Со всем тем, книга, в которой, по сознанию самого автора, собраны не наиболее для его таланта характерные вещи, прочтется с большим интересом. В особенности теми, чей «мозговой фасон» приближает их к *иудеям*.

Вот, например, превосходная статья под заглавием «Желтый человек в переделке»³.

В этой статье Розанов предлагает читателю разрешить такую задачу: определить неизвестный *икс* по двум известным величинам *A* и *B*. При чем под *A* должно разуметь покойного Рачинского, известного ученого и филантропа, русского барина и опростившегося христианина, который в имении своем Татево завел народную школу, из чего, впрочем, ничего не вышло. Под *B* — хорошего русского «среднего» человека, который, окончив курс в духовной академии, поступил «прямым трактом» в государственный контроль; утешал покойного Третья Ивановича Филиппова игрой на балалайке и пением «стихиров», и, в конце концов, тоже ничего не вышло, если не считать чина «статского советника» за выслугу лет... Это «ничего не вышло» до такой степени знакомо нам, до такой степени оно срослось с историей русской, из которой доселе тоже, кажется, «ничего не вышло», что мы невольно начинаем догадываться, что все данное нам уравнение сводится к нулю, что и в искомом *Иксе* прячется предательское «ничего не вышло». И действительно, *Икс* — это *Сереза Саотзы*⁴, японец с острова Сио-Киу или Киу-Сио, мальчиком попавший к Рачинскому, обращенный им в православие, потом помещенный в Петербургскую духовную академию, а затем... «ничего не вышло»! Один академик ушел в контроль, а японец в лейб-гусары... А как же православие? Да это и есть тот нуль, в котором, по-видимому, должны растворяться все многообразные русские «ничего не вышло»! Мне кажется, что такова мысль В. В. Розанова, такова господствующая тенденция его книги. «Христианство не удалось», — обмолвился как-то Достоевский. «Да, — как бы вторит ему Розанов, — по крайней мере, из православия решительно ничего не выходит...» Но дадим слово автору:

«Лет должно быть десять назад я был в гостях у знаменитого педагога нашего времени Серг<ея> Алекс<андровича> Рачинского в его Татево. Среди отдыха и ничегонеделания он показывал мне разные фотографии то местностей, то людей, и над одной группой фотографий я не мог не остановиться. Я знал раньше о каком-то японце, посещающем Татево. Но ничего не знал о нем определенного и осмысленного. Остановившая мое внимание группа фотографий и была японского и полу-японского, европейского и полу-европейского содержания. Тут он мне сказал, что это Сереза Саотзы, его любимый или один из любимых учеников, ставший христианином, — “а вот и его семейство”... Саотзы был юношей, почти мальчиком, а его семейство, отец с матерью, братья и сестры — уже старые или взрослые японцы. “Вот это Сереза, когда он еще ходил в японском костюме, а вот — как он теперь”... Я рассматривал. Я не художник. Но ведь всякий о березе скажет, что она — нарядна, а о сосне, о

хвойном дереве — что угрюмо. Дробь художника есть в каждом из нас, и этой дробью в себе художника я невольно смутился.

Тут все дело в том, что на некоторых фотографиях, вывезенных из Японии, был и ландшафт, т. е. мебель и обстановка их чрезвычайно открытых, воздушных жилищ, и кое-что из деревьев, их листья и распределения сучков. Что у человека и разных пород человека — стан фигуры, выражение лица, то у дерева и разных пород деревьев — особое расположение сучьев, которое определяет характер дерева и характерное в дереве. Дуб, пальма, береза, сосна, тополь — все это говорит на своих языках и говорит именно характерным видом расположения своих сучьев. Так было и на японском пейзаже. Не зная местной природы, я не могу объяснить источников своего впечатления: но скажу только, что все в пейзаже было прелестно, гибко, как-то переломлено в сучьях, мало тенисто и от этого бесконечно воздушно. Ничего сырого и ничего тяжелого.

Поэтому, увидав Сережу Саотзю в рединготе и застегнутого на все пуговицы, я был поражен сыростью и тяжестью его фигуры на фоне ландшафта существенно легкого. Вот бегемот пробует сесть за завтрак и подвязывает себе салфетку. В данном случае “бегемотом” был редингот. Замечу следующее. Все японцы, как и все, кажется, китайцы, немного сутуловаты. Европейец по фигуре всегда гвардеец; на гвардейце редингот сидит великолепно, — прямая спина, выпяченная грудь, открытое, большое лицо и этак как-нибудь усики. Соответственная стрижка волос, полукороткая, с пробором. Все дает впечатление целого, все — картина. Но все картина — у нас... Теперь возьмите японца: на сутуловатой, непременно и исторически сутуловатой его фигуре редингот сидит мешком; в сутуловатом — что-то скромное, и ведь скромность может быть прелестна; но соединение скромного в позе с гордым костюмом — есть смешное, есть претензия, есть хвастовство. Все имеет вид украденного костюма, который второпях переодел на себя воришка и идет по улице. Скверно. И вместе с тем человек прекрасен. “Это не я украл, это меня украли у моей цивилизации, с моего ландшафта, у моих родных и из моего дома: украли, положили в карман, как вещь, и показывают, как бонбоньерку”.

Так тоскливо я думал, смотря на фотографии. Обращу еще внимание на японское лицо. Оно — без углов, какое-то округлое, мешочком, похожее на незрелые маленькие арбузы, какие продают в конце июля неопытным. Без всякой растительности снизу. Это яблочко с узенькими глазками над рединготом — опять смешно, опять обезьяна, опять является бесконечное к нему неуважение. Около большого европейца, его фигуры, усов, цилиндра, галстука переодетый в европейца “Сережа Саотзю” есть просто “малый”, которому хочется сказать: “Принеси, братец мой, лимонаду”. Да! Переодетый есть всегда немножечко лакей того, в чей костюм он переоделся».

Прошу извинить за слишком, может быть, пространную выписку. Мне хотелось поспорить немного с уважаемым автором и хотелось сделать это «с документами в руках»... В состоянии ли я, однако, спорить? Я испытываю чувство очарования... Я завороч-

жен сладким гипнозом, не позволяющим мне рассуждать... О, эти теплые, мягкие, летние лунные ночи! Сколько в них истомы и волшебства — и как все неверно! И как, прочитавши такую страницу, понятным делается возглас, раздающийся не *около* церковных стен, а *внутри* стен, в самой церкви: «Слава Тебе, показавшему нам свет!» Это *эллинское* озарение, это блеск *дневной* души, это солнце разума, это свет Христов!.. Боялись, боялись святые отцы ночи, и не потому, думается, что все в ней тьма, что все в ней ложь, что все в ней зло... Но ее освещение неверно. Неправильно ложатся тени на предметы... Обманчив серебристый свет луны... Опасен путь, указуемый загадочным мерцанием светлячков... Не ложь страшна, страшна *смягченная предельность* суши и воды, фантазий и реальности, безобразия и красоты!..

Украли бедного Сережу Саотзы! Украли у его японской цивилизации, похитили с его поэтического ландшафта, отторгли от семьи, вырвали из объятий матери, братьев, сестер!..

Кто украл? Кто совершил такое злое дело? Этот добрый старичок, который завел школу для сельских ребят в Татеве? Духовная академия? Или наше старенькое православие? Так косное, так неумелое, из которого «решительно ничего не выходит»? Кажется, именно оно. В. В. Розанов пытается и причину показать, почему «ничего не выходит». Обратившийся в православие японец Сергей Саотзы написал книжку «Как я стал христианином»⁵. Книжку эту прочитал В. В. Розанов.

«Она прекрасна в духе, — говорит он, — в тоне, в описаниях, в рассуждениях, хотя этот дух слишком общий дух, этот тон слишком общий тон, и эти рассуждения и описания — все чрезвычайно общее и не имеет в себе ни одной черты личной. Как будто книжка написана на тему, как вообще и почему вообще делаются христианами, напр<имер>, вот я, Сергей Саотзы. Гораздо позднее, уже приехав в Петербург, я познакомился на службе с одним бывшим воспитанником С.-Петербургской духовной академии, с которым учился вместе, т. е. начинал становиться православным богословом, и этот Сергей или Сережа Саотзы. — «Отличный был малый, отличный товарищ, веселый и живой, очень неглупый». Еще позднее, совсем недавно, мне привелось узнать от одного соседа Рачинского по имению дальнейшую судьбу японца: он сделался офицером и служит в котором-то полку. — «А что же богословие? Духовная академия? Свежее зерно на свежей почве, и привитое такой могущественной рукой (Рачинский), как в смысле просветительном, так и в смысле благочестия?» — «Не знаю; только он пошел в офицеры». Т. е. ничего не вышло ожидаемого. Он пал в русский океан, как желтая капля своей желтой родины, смешавшись и утонув в волнах бесцвет-

ной, во всяком случае, не колоритной в смысле христианства и богословия, русской интеллигенции, и утонул в ней. Ничего не вышло, если вдуматься... Именно Божия-то дела тут и не выходит... “Был японцем, поступил в духовную академию, а потом поступил в офицеры”. Типичный образчик типичного русского существования... И настоящее заглавие книжки, какую написал Саотзы и издал С. А. Рачинский, не “Как я стал христианином”, а “Как Саотзы из Кио-Сиу поступил в С.-Петербургскую духовную академию”. Устраним иллюзию общего, поставим на ее место конкретное, определенное — и пыл остынет. Рачинский — художник, и ему нравится: “Как я стал христианином”. Но я реалист, и мне более нравится: “Как я стал семинаристом». Уверен, что в этом все дело, и бедный “порченный японец”, если бы ему случилось прочесть эти строки, прямо упал бы мне в объятия и сказал бы: “Да! да! в этом все дело, я только не умел объяснить! Они говорили всем, что делают из меня христианина, и этого я сам хотел, прочтя евангелие, но на самом деле они стали делать из меня бурсака, и вот этого я не хочу; этого я не понимаю, и от этого я убежал в офицеры, потому что это все-таки правда и понятное мне, и более похожее на мое родное Кио-Сиу, чем ужасный подрысничек и стихарчик”».

Так.

У меня была первоначально мысль поспорить немного с уважаемым В. В. Розановым. В столкновении мнений, говорят, брызжет истина... Заинтересована ли, однако, книга, которая перед нами, в изыскании, обнаружении *истины*, той истины, которая не сдается перед чарами обольстительной, но ложной мудрости, которая не уступит своего царственного места ради призрачного первенства общедоступных полу-истин?.. Вот вопрос.

Нет, я не буду спорить. Ограничусь ролью скромного хроникера. Доскажу читателю последнее слово в судьбе «Сережи Саотзы». «Порченный японец» вернул свою невинность. Ему ничего не повредили ни Рачинский, ни духовная академия, ни православию, ни ужасный стихарчик...

Он сделался *шпионом*.

Он содержал мелочную лавочку в бывшем русском городе Дальнем и... работал.

«В настоящее время, — писал один корреспондент с театра последней, так несчастной для нас войны, — Сергей Николаевич Саотзы находится в японской действующей армии и состоит при штабе генерала Куроки...»

Я не имею ничего больше сказать.

Зверь остается зверем, в какой бы шкуре он ни увидел свет. И гнуснейший между зверями — самый опасный, самый мститель-

ный, самый злобный, самый предательский и вероломный, — это, может быть, человек.

Есть, однако, какая-то сила, которая сдерживает, умягчает, облагораживает, окончательно упраздняет зверя в человеке.

Сила, которая возводит человека-зверя до небес...

Какая это сила и где ее искать: *около* стен церковных или в самой церкви?

Каждый решает вопрос по-своему. У каждого своя совесть. Лично моя совесть подсказывает мне вот что: нет! я не отрекусь от своего старенького православия... Ветхо оно очень, косо, неумело ужасно, соглашаюсь... Смешно, как этот «ужасный стихарчик», но... не оно ли создало мою бедную, убогую, может быть, не очень даровитую, но добрую, ласковую, «хлебосольную» родину? Ну, этот старичок Рачинский... Смешон, смешон, что и говорить! Конечно, ничего не вышло из его педагогических и апостольских попыток, и однако же, как посравнишь эту жизнь, во всяком случае, исполненную человечности и благородства, с предательскими извивами экзотической змеи, — не приходится краснеть ни за свою родину, ни за то одухотворяющее начало, которое дает ей смысл и место в истории... Так нам кажется. Таково наше убеждение... А затем, что еще сказать о книге, которая дала нам повод для столь продолжительной беседы с читателем? Она чрезвычайно интересна на протяжении всех своих четырехсот страниц, и мы думаем, что в этом сборнике можно найти все то поучительное, интересное, наводящее на размышление, что могло прийти на ум и сердце талантливому наблюдателю жизни, ставшему *около* стен церковных, но не сумевшему или не пожелавшему пройти *далее*, сколько-нибудь приблизить себя к «святая святых» русской истории и русского народа...

